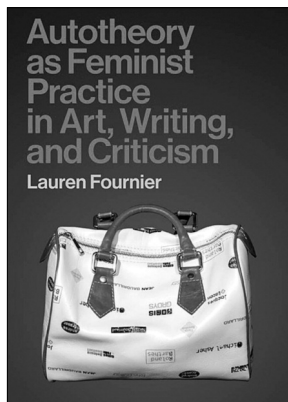


НОВЫЕ КНИГИ

Fournier L.

Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism.



Cambridge, MA: The MIT Press, 2021. — 320 p.

Книга Лорен Фурнье — первая монография, в названии которой есть слово «автотеория». До этого новое понятие обозначало свое присутствие не столь явно, например в аннотации к «Аргонавтам» (2015) Мэгги Нельсон, в названии спецвыпуска журнала «The Arizona Quaterly» (2020) или в «телесном эссе» (body essay) философа и квир-феминиста Поля Б. Пресьядо «Testo Junkie: секс, наркотики и биополитика» (2008). Появление этого слова на обложке книги, вышедшей в издательстве Массачусетского технологического института, — важный и ожидаемый этап успешной «карьеры», которую автотеория делает в университетах, арт-журналистике и критической теории. Только за последние полтора года в США, Канаде, Великобритании и Северной Европе прошло несколько десятков конференций, мастерских, публичных дискуссий и выставок, посвященных новым спо-

собам рассуждения об экспериментах в литературе, критическом письме и концептуальном искусстве, которые возникли по следам второй и третьей волн феминизма.

Несмотря на ажиотаж, обычно свидетельствующий о волнующей новизне предмета, автотеория в первом приближении не кажется чем-то радикально отличным от уже существующих практик письма о себе: автобиографии, критических мемуаров, автофикшена, автоэтнографии. Возможно, поэтому работа над автотеоретическим исследованием, как правило, начинается с размышления о его политической и эпистемологической целесообразности. Так, в книге Фурнье вступительная глава начинается с попытки сформулировать заведомо широкое, чуткое к жанровой и методологической разнородности определение автотеории (с. 7—14); затем автор переходит к обсуждению дискурсивных рамок, в которых формируется импульс к автотеоретической работе с философскими, художественными и критическими текстами (с. 14—36); завершается Введение обзором исторических предшественников автотеории: эссе Монтеня, исповедей Августина и Руссо, само наблюдений Фрейда и дневников Ницше (с. 36—43).

Фурнье предлагает понимать под автотеорией самосознательную практику взаимодействия с теорией, укорененную в личном телесном опыте и зарождающуюся на пересечении академического и околоакадемического дискурсов (с. 7). Каждый элемент этого определения очень важен для автора. Так, называемая автотеорию самосознательной (self-aware), Фурнье предлагает взглянуть на нее как на инструмент публичного

осмысления опыта частной жизни и того, в какой мере частное опосредовано глобальными структурами власти. В этом смысле автотеория наследует интеллектуальному и активистскому импульсу феминизма 1960-х гг. с его лозунгом «Частное равно политическое» и стремлением поставить в центр художественных, общественно-политических, повседневных и образовательных практик негативные особенности жизненного опыта притесняемых групп населения. Автотеория продолжает прокладывать свой путь через тексты, объекты и практики концептуального искусства, созданные женщинами, представительницами расовых и сексуальных меньшинств, квир-персонами, однако с иной, чем у феминизма второй волны, целью: первостепенный интерес для автотеории представляют связь частного и теоретического, а также политика производства академического знания, способного претендовать на универсальную легитимность (с. 12).

Вторая характеристика автотеории — соотнесенность с опытом жизни в конкретном теле — проявляется двояким образом. С одной стороны, автотеория интересна такой телесный опыт, который субъект приобретает в процессе потребления теории. Рассуждая о телесности как о сопутствующем условии и источнике теоретического знания, Фурнье вспоминает перформанс Эдриан Пайпер «Пища для духа» (1971): американская художница сочетала чтение «Критики чистого разума» Канта с голоданием и фотофиксацией изменений своего физического облика, чтобы исследовать, как в процессе поглощения, пережевывания и усвоения идеальной «духовной пищи» — философских текстов — меняется тело познающего субъекта и какую роль играет тело в постижении научных концепций. С другой стороны, автотеория также ставит вопрос о том, могут ли соматические сигналы читающего и пишущего тела уча-

ствовать в образовании теоретического знания, и если да, то какие именно тела оказываются более пригодными для создания теории.

Наконец, чтобы в полной мере оценить третью особенность автотеории — ее генетическую и морфологическую связь с междисциплинарностью, — необходимо иметь в виду, что Фурнье использует термин в двух значениях: во-первых, автотеория для нее — импульс, заставляющий исследователей переключаться между практиками «пристального чтения» (*close reading*), экспериментальным письмом и репаративной (то есть доверчивой, свободной от подозрений и предрассудков, способной к удивлению; см.: Sedgwick E.K. *Paranoid Reading and Reparative Reading*. Durham; L., 2003. P. 123—152) критикой и кураторством; во-вторых, этот термин по принципу смежности применяется и к тому, что производится в ходе экспериментальных практик. В обоих случаях автотеория включена в интердисциплинарную и интермедиаальную работу по взаимосвязанным, но отдельным причинам. С одной стороны, потребность в междисциплинарном подходе продиктована стремлением исследовать теорию как эмоционально амбивалентную сферу, в которой сосуществуют желание и отчаяние, косность и радикальная трансформация, накопление и импульсивная трата (с. 2). С другой стороны, автотеория неизбежно возникает на пересечении нескольких дискурсов, жанров и медиа, так как лежащий в ее основе архив источников принципиально открыт и предварителен; его состав определяется не окончательным замыслом, а событиями частной жизни в конкретном месте и конкретном времени (с. 4—5).

«But why autotheory and why now?» (с. 2) — спрашивает Фурнье, акцентируя этим повтором, сознательно или нет, двусмысленность английского вопросительного слова «why», которое может относиться как к причине («По-

чему мы наблюдаем появление автотеории?»), так и к цели («Зачем нужна автотеория?»). Отвечая на первый вопрос, Фурнье указывает на усталость от позднего капитализма и неолиберальных установок на индивидуализм, самореализацию и успех, на противоречия между различными феминистическими движениями и, наконец, на кризис коллективного ощущения правды (с. 3). В этих условиях автотеория стремится раскрыть и усилить коллаборативный характер различных творческих и мыслительных практик, то есть осмыслить письмо, чтение, коллективное обсуждение и производство текстов как идеальное совместное действие, в ходе которого субъект открывает для себя возможность самоидентификации в спонтанном языковом, телесном и аффективном резонансе с Другими.

В стремлении использовать письмо, перформанс или художественную практику для построения сообщества как надындивидуального мыслящего тела хорошо видна методологическая основа автотеории. Своим появлением она в значительной степени обязана вопросам, сформулированным Мелани Кляйн в работах по детскому психоанализу, а также другими авторами теории объектных отношений (*object relations theory*) — Рональдом Фэйрбейрном, Джоном Сазерлендом и Дональдом Винникотом. От теории объектных отношений автотеория наследует стремление перенести акцент с внутриспсихических конфликтов на интерпсихические процессы и объяснить разлад в самоощущении субъекта болезненными неудачами в общении с другими людьми. При этом связь с Другими играет не просто важную, а определяющую роль, так как субъективный опыт человека может сформироваться только через эти отношения.

Переноса эту концепцию субъекта в более широкое поле критического и феминистского анализа культуры, автотеория подспудно отменяет обещание,

на котором держится вера в абсолютную легитимность критической теории в XX в., — обещание обнаружить и описать Другого, состоящего в антагонистических отношениях с научной сознательностью и рациональностью. На фоне критической традиции, которую Поль Рикёр называет герменевтикой подозрения и в рамках которой теория занимается анализом вытесненных значений текста (Ricoeur P. *Freud and Philosophy*. New Haven, CT, 1970. P. 32), автотеория выглядит занятием, не претендующим на разоблачение сокрытого. Отказ от подобных притязаний можно объяснить не в последнюю очередь тем, что автотеория снимает противоречие между Я и Другим и предлагает рассматривать процесс самоидентификации как нескончаемую пересборку себя в потоке встреч с похожими и непохожими на нас людьми.

Когда любое высказывание не просто инструмент самоизъяснения, а медиум этического взаимодействия, первостепенным становится вопрос о том, что я, как теоретик, имею право описывать. Солидарная с реляционным пониманием идентичности автотеория позиционирует себя как открытое дискурсивное пространство, в котором вопрос о статусе, правах и обязанностях саморефлексирующего наблюдателя подвергается всестороннему обсуждению. Главы книги Фурнье служат наглядными примерами того, какие вопросы прежде всего интересуют автотеорию: чего физически и психологически стоит чтение текстов, причисляемых к канону западной теории? можно ли предотвратить фетишизацию теории и вернуть ей критический потенциал и универсальную доступность? в какой момент цитата как средство достижения интертекстуальной близости с Другим превращается в инструмент межличностной апроприации? наконец, следует ли рассматривать частную жизнь теоретика как нечто отдельное от его работы?

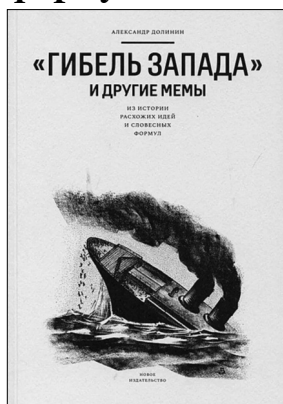
Пожалуй, именно вопрос о цитате, о точках сопряжения дискурсивного, аффективного и этического ближе всего подбирается к парадоксу, на котором строится автотеория: превращая теорию в инструмент производства авторефлексивного знания, автотеория отнюдь не побуждает нас открывать правду о себе, то есть идти путем искренности. На какие посылки опирается автотеоретическое письмо в размышлении над этой темой, хорошо видно в третьей главе, где Фурнье ссылается на «Аргонавтов» Нельсон и «комикс-драму» Элисон Бекдел «Ты моя мать?». Поводом для их упоминания служит то, что оба текста появляются вопреки воле изображаемых и цитируемых в них людей: в первом случае это Гарри Додж, американский трансгендерный художник, с которым Нельсон связывают романтические и творческие отношения, а во втором — мать Бекдел, считающая, что писать об отношениях с родителями — нарциссизм, недопустимый в настоящей литературе. Фурнье заостряет этот параллелизм не столько для того, чтобы воздать должное продуктивному своеволию авторов, сколько чтобы указать на непростой вопрос, перед которым неизбежно оказывается автор автотеоретического проекта: на что я готов пойти ради возможности быть искренним? И можно ли обрести идентичность в разговоре с тем, кого я люблю?

Размышляя над этим вопросом, Фурнье уточняет, что автотеория, как и любая современная дискурсивная практика, не позволяет говорить об искренности в категориях референциальности или тождества внешнему, существующему отдельно от речи содержанию. Вместо этого Фурнье вслед за Нэнси К. Миллер предлагает понимать под искренностью особый дискурсивный эффект, суть которого в том, чтобы «превратить авторское повествование в спектакль и теоретизировать ставки в этом спектакле» (Miller N.K. *Getting Personal*. N.Y.,

1991. P. 22), то есть то, чего стоит автору переработка тех компонентов своей идентичности, которыми он владеет сообща с любимым Другим. Автотеория, которая, по мнению Фурнье, представляет собой наиболее тонкий инструмент для исследования этого дискурсивного эффекта, отказывается видеть торжество искренности в присвоении элементов совместного опыта. Говоря словами американской поэтессы Энн Бойер, автотеория появилась для того, чтобы донести до нас мысль: «Не все, что в тебе, твое».

Анна Яковец

Долинин А.А. «Гибель Запада» и другие мемы: из истории расхожих идей и словесных формул.



М.: Новое издательство, 2020. — 158 с. — (Новые материалы и исследования по истории русской культуры).

Книга А.А. Долинина посвящена, по словам автора, «истории крылатых слов, поговорок, расхожих цитат и других речевых и мыслительных клише, которые последнее время называют мемами» (с. 7). Исследователь обращается к одиннадцати таким «мемам», обнаруживая их зачастую неожиданное про-

исхождение и реконструируя их извилистую и порой многовековую историю.

Порядок расположения статей, составивших книгу, позволяет выделить в ней три части. В первых пяти главах рассматриваются идеологически нагруженные формулы, используемые в разнообразных общественно-политических дискурсах. Сборник открывается заглавной работой о «гибели Запада», в которой на материале многочисленных выразительных цитат прослеживается история этого комплекса идей и метафор от появления в текстах 1830-х гг. И.В. Киреевского, С.П. Шевырева, В.Ф. Одоевского, М.Ю. Лермонтова и др., через весь XIX в., эмигрантскую поэзию и публицистику, советскую пропаганду и вплоть до наших дней. Следующая заметка обращается к выражению «Англичанка гадит», также используемому в современной пропаганде и восходящему к фразе «Это все француз гадит» из «Ревизора». Афоризм «Поскребите русского и найдете татарина», в концентрированном виде выразивший высказывавшиеся начиная с XVIII в. сомнения в успехах цивилизации в России, был придуман анонимным французским журналистом в 1835 г. и поддержан авторитетом употребившего его В. Гюго. Словосочетание «тоска по чужбине», sporadически встречавшееся еще в первой половине XIX в., получило широкое распространение в следующем веке благодаря Ю.И. Айхенвальду, использовавшему его для обозначения чувства, описанного в одном фрагменте И. Канта. Наконец, Долинин вскрывает двусмысленность аллегорического титула Екатерины II «Северная Семирамида»: вызывавший ассоциации с трагедией Вольтера «Семирамида», главная героиня которой убила мужа и заняла его трон, он легко проецировался на обстоятельства, при которых русская императрица взошла на престол, и редко использовался в панегирических текстах.

Следующую часть образуют четыре заметки, объединенные самим автором под заголовком «Мемы Пушкина». Подобное выделение по персоналии несколько противоречит установке книги на описание безличных, воспроизводящихся на протяжении многих лет смысловых единиц культуры, и не все из анализируемых пушкинских формул стали «мемами». Как бы то ни было, Долинин нюансированно описывает виртуозную игру Пушкина с поэтическими формулами в финале «Евгения Онегина». Стих «Иных уж нет, а те далече» оказывается не только цитатой из Саади, но и обновлением античного «воспоминательного» топоса, а следующая затем метафора «пира жизни», также восходящая к римским авторам, помимо этого отсылает к Л. Стерну и включается в металитературную рефлексию, так что последняя строфа романа в стихах оказывается более ироничной и сложно устроенной, чем это может показаться на первый взгляд. Следующая заметка посвящена пушкинскому афоризму «Зависть — сестра соревнования», опирающемуся на античную и новоевропейскую традицию сравнения этих двух чувств и связанному, как показывает Долинин, с проблематикой «Моцарта и Сальери». Анализ употребления в «Путешествии в Арзрум» выражения «азиатская роскошь» позволяет исследователю сделать более общие выводы о той позиции представителя европейской цивилизации, которую занимает в этом травелогe Пушкин.

Третьей частью книги можно считать последние две статьи, в которых исследуются формулы не политические или поэтические, а историко-литературные, кочующие по страницам литературоведческих работ и учебных пособий. Афоризм «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя», впервые употребленный знаменитым популяризатором «русского романа» в Европе Э.М. де Воюэ и при-

писывавшийся в дальнейшем Достоевскому или Тургеневу, скорее всего, как показывает Долинин, принадлежал писателю и чиновнику Б.М. Маркевичу, с которым Вогюэ виделся в салоне С.А. Толстой. Завершается книга работой, уточняющей историю самого, вероятно, влиятельного понятия историко-литературной и культурной периодизации — «Серебряного века». Дополняя разыскания О. Ронена, Долинин показывает, что в эмигрантской среде этот термин активно употребляется уже в начале 1950-х гг., во многом благодаря текстам В.В. Вейдле, И.И. Тхоржевского и Ю.П. Иваска.

Собранные в этой книге исследования следует соотносить с разными изводами большой междисциплинарной традиции одновременного изучения «идей» и «формул», содержательных и выразительных особенностей политических, литературных, научных и др. дискурсов. Так, если Р. Козеллек с коллегами описывали «основные исторические понятия», в которых отразились большие социальные процессы, то Долинин демонстрирует, что в не меньшей степени политический опыт может конденсироваться и транслироваться в порой случайных, но зато ярких афоризмах, суггестивных метафорах, запоминающихся образах, возникающих не в философских или юридических трактатах, а на страницах газет, в разговорах и письмах. Исследователь отмечает, что в большинстве случаев «со сменой кодов и контекстов значение мемов изменяется, и они приобретают новые смыслы и функции» (с. 7). Этот важный тезис вместе с полемической установкой на разоблачение языка современной пропаганды придает книге Долинина, особенно в первой части, критический заряд (отдаленно напоминающий генеалогию Ницше и археологию М. Фуко): до сих пор распространенные «идеи» и «формулы» перестают казаться вечными и самоочевидными, демонстриру-

ются их случайное происхождение и запутанная последующая история.

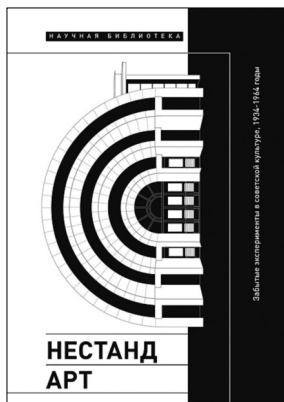
Порой, однако, положения, предлагаемые в качестве альтернативы деконструируемым, оказываются довольно спорными. Так, тщательно описав историю дискурса «гибели Запада», исследователь заключает: «...иррациональное убеждение в смертельных болезнях могущественного и успешного Другого необходимо для оправдания собственных проигрывающих политико-экономических стратегий, патологической ксенофобии и ничем не оправданных претензий на превосходство» (с. 57). Такая формулировка зеркально отражает миф о гибели Запада, онтологизируя и психологизируя Россию как вечную носительницу чувства ресентимента по отношению к Европе. Между тем если поместить исследуемый Долининым дискурс в рамку «большого нарратива» наступления «современности» (modernity) и критических реакций на нее как справа, так и слева, то можно будет отдать должное внутренней логике рассуждений о «гибели Запада», их частичной применимости и структурной ограниченности, объяснить их «центральное», немецкое и французское, происхождение и большую популярность в «полупериферийной» России, разрешить загадку одновременного присутствия в текстах почвенника Достоевского и социалиста Герцена и т. д., не переводя закономерный социокультурный феномен в разряд иррациональных психологических патологий. Характерно, что в своем ироничном рассказе о русских пророчествах заката Европы Долинин делает фигурой умолчания две мировые войны, за всю статью упомянутые только трижды: в словосочетании «предвоенный Париж» и двух цитатах из эмигрантских текстов (с. 50—51, 60). Вполне реальный катастрофизм европейской жизни 1910-х и 1930-х гг. придает больше веса эсхатологическим построениям того времени.

В заключение отмечу одну интересную особенность большинства описанных Долининым смысловых единиц: их потенциальную сюжетность. Эти столетиями воспроизводящиеся в пространстве русской культуры «идеи» и «формулы» в свернутом виде содержат в себе рассказы с набором действующих лиц и последовательностью событий (ср. еще раз: «Гибель Запада», «Англичанка гадит», «Поскребите русского и найдете татарина», «Все мы вышли...», «Серебряный век», предполагающий «Золотой» и т.д.). В этом отношении «мемы» Долинина оказываются очень похожими на «идеологемы» Ф. Джеймисона, которые являют себя «либо как псевдоидея — система понятий или верований, абстрактная ценность, мнение или предрассудок, — либо как прото-нарратив» (Jameson F. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. L., 2002. P. 73). Как ни называй эти единицы, в которых осуществляется взаимопереход формы и содержания, они не только включаются в политические, поэтические, историко-литературные и др. дискурсы, но и являются условиями их возможности, прямо их порождают. Посвященная им книга Долинина предлагает новый и неожиданный подход к изучению вербально оформленных социальных и культурных смыслов, используя, развивая и дополняя который можно будет получить еще много плодотворных результатов.

Олег Ларионов

Нестандарт: Забытые эксперименты в советской культуре, 1934—1964 годы / Сост. Ю. Вайнгурт, У. Никелл.

М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 352 с. — 1000 экз. — (Научное приложение; Вып. ССХVI).

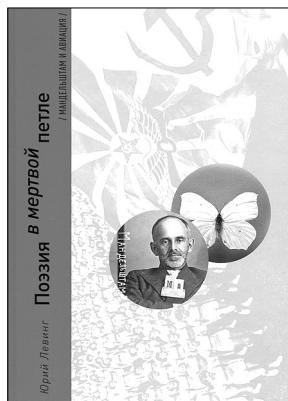


Содержание: *Вайнгурт Ю.* «Ненормальные»; *Крутиков М.* «История будет нас судить по нашим зданиям»: архитектура как факт и символ в очерках Дер Нистера «Столицы»; *Кендалл М.* Стереоскопический реализм: инженеры иллюзий Александра Андриевского; *Гаспаров Б.* Путь к «неслыханной простоте»: симфоническое творчество Гавриила Попова и судьба авангарда 1920-х годов; *Эмерсон К.* Голос Кржижановского из осажденной Москвы, 1941—1945: частичная видимость во время тотальной войны; *Барскова П.* Ключник и его ключи: блокадная поэзия Сергея Рудакова; *Свинаренко А.* «Время без разделенья»: темпоральный режим романа Павла Зальцмана «Щенки»; *Липовецкий М.* Рождение русского постмодернизма во Владимирском центре: «Новейший Плутарх» Льва Ракова, Даниила Андреева, Василия Парина и др.; *Моррисон С.* Галина Уствольская в истории музыки, вне ее и за ее пределами; *Кагановская Л.* Женщина с киноаппаратом: Маргарита Пилихина в советской «Новой волне»; *Тарускин Р.* Коле посвящается; *Никелл У.* Иноверцы и инновация.

Левинг Ю.
Поэзия в мертвой петле (Мандельштам и авиация).

М.: Бослен, 2021. — 224 с. — 1000 экз.

Авиационная тематика у Мандельштама рассматривается в основном при помощи построчного анализа его стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой». Книге предпослана обширная хроника 1933—1936 гг., где сопоставлены события в политике, технике, кино, мировой литературе — и события из жизни Мандельштама. Приведено очень большое количество иллюстративного материала 1920—1930-х гг., посвященного развитию авиации в СССР — фотографии самолетов и летчиков, пропагандистские плакаты (хотя подписи к ним не всегда безошибочны: так, самолет на плакате на с. 21 назван фантастическим, между тем это обычный истребитель того времени И-16).



За книгой стоит огромный объем изученного материала, как литературного, так и архивного. «Мучнистая бабочка» сопоставляется с крушинницей мучнистой из «Путешествия в Армению», усы которой напомнили Мандельштаму пальмовые ветви, возлагаемые на гроб (с. 91). Наличие в стихотворении позвоночника привлекает как другие случаи, где он встречается у Мандельштама (чаще как модели сцепления столетий, с. 100), так и упоминания позвоночника в поэзии начала XX в. вплоть до Маяковского. Текст Мандельштама вписан в контекст времени, когда смерть превратилась из личного горя в «символическую точку отсчета в публичном календаре» (с. 77), когда годовщины

прошлых смертей отмечались с той же энергией, что и современные события, и «зыбкая грань между живым и мертвым почти стиралась» (с. 77; отметим, что стиранию этой грани способствовали не только усилия пропаганды, но и массовые репрессии).

Исследователь приводит текст воронежского поэта Г.Н. Рыжманова (чьим сочинением заменили стихотворение Мандельштама в наборе журнала «Подъем»), в котором тот узнаваемо указывает на Мандельштама и прокламирует, что героев будет продолжать он, советский поэт, а не классовый чужак. Левинг выяснил, что в Воронеже в 1934—1935 гг. не было ни одной авиационной аварии — еще одно подтверждение того, что Мандельштам брал материал для своих стихов из воздуха времени, а не из того, что происходило непосредственно за окном его дома. Но все-таки кажется, что слишком часто данное исследование (как, впрочем, и очень многие другие) стремится привязать стихи Мандельштама к конкретным событиям, представляет их как «зашифрованный» отклик на них. Левинг пишет, что главная загадка, «вокруг которой строилась фабула исследования: состоялись ли похороны летчиков, и если да, то чьи именно тела пронесла траурная процессия под окнами поэта предположительно в 1935 году?» (с. 9). Но это загадка скорее истории и биографии, а не поэзии. Очень многие исследования о Мандельштаме, проясняя реалии, исторический контекст, интертекст, производят огромную и необходимую предварительную работу, но она должна переходить в работу анализа ассоциативных рядов, что происходит нечасто.

Хвоя у Мандельштама — одновременно и пучок смыслов, и уколы смерти (с. 104—105). Колодец в фольклоре связан с опасностью (с. 107). Левинг обращает внимание на вариативность прочтения. «Тянут жизнь и время дорогое» — и протяжные звуки похоронной музыки,

и попытка живых оттянуть момент расставания с мертвыми (с. 110). «Смертные станки» — платформы для гробов, может быть орудийные лафеты, но через них просвечивают и самолеты как станки для работы в небе, и фразеологический прообраз «смертные останки» (с. 115). «Обручи краснознаменной хвои» не только венки, но и нули, символ обнуления жизни (с. 119; можно добавить, например, обручи на бочке — попытку похоронным ритуалом стянуть толпу воедино). Троекратное повторение «люди, люди, люди» — строй процессии, но и (с привлечением поэмы Н. Тихонова «Лицом к лицу») конвейер уничтожения «людей, перемалываемых как зерна в муку» (с. 143). Конечно, не всегда с исследователем можно согласиться. Так, зенитные орудия связаны с зеницами глаз, но скорее не «отверстия стволов напоминают человеческие глазницы» (с. 52), а, наоборот, это тысячи глаз, нацеленных, как зенитки (да и собрать тысячи орудий на площади проблематично, тысячи глаз — легко).

Жаль, что вне исследования остались авиационные метафоры Мандельштама из «Разговора о Данте», говорящие об особенном важном в этом контексте — о процессе создания стиха. Жаль, что только упомянуто присутствие в стихотворении многих оттенков, от мучнисто-белого до обугленно-черного, далее цветные ассоциации не исследованы.

В качестве анализа контекста Левинг рассматривает также два советских сборника стихов об авиации. Первый, «Лёт», вышел в 1923 г. под редакцией Н. Асеева. Исследователь отмечает обилие эротических коннотаций в нем — овладение небом как женщиной, внедрение в него. Но, кажется, это сопоставимо с общим пафосом эпохи насильственных преобразований, не только в небе. «Насадить революционную идеологию в мировом масштабе означает оплодотворить этой идеологией мировое сознание, желательнее по обоюдному согла-

сию, но если надо, то и силой» (с. 158). Эротика все-таки не только (и не столько) насилие. И не смешивает ли Левинг наслаждение от эротики и от власти? Впрочем, все это рассеивается во втором сборнике, 1939 г., «Сталинские соколы», где начинает доминировать сдержанная асексуальность. «Из размытого неба и абстрактного солнца оформился отчетливый архетип — образ небесного Сталина» (с. 166). Он, разумеется, недосыпаем, герои лишь рапортуют ему из недр руководимого им коллектива. Характерно сопоставление со стихотворением Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», где поэт мечтает заснуть так, «чтоб в груди дремали жизни силы», «Стихов о моноплане» П. Лукницкого, в котором тот «ломает своему лирическому герою грудь, буквально молотя ребра новому демону с пропеллером: “И легчик ребра раздробил / Об угол сломанных стропил, / И пеплом выпал меж равнин, / Сгорев, как молния бензин”» (с. 181). В таком окружении Мандельштаму приходилось жить и работать.

Характерно предложение Левинга о создании тематических антологий русской поэзии XIX—XX вв. с разделами «Электричество», «Средства коммуникации», «Транспорт», со стихами о станках, о представителях урбанистических профессий (с. 183). Возможно, это поможет пониманию процессов, происходивших в обществе, но к пониманию поэзии, редуцируя ее до тематической публицистики, так едва ли можно приблизиться.

Анализируемое в книге стихотворение относится именно к попыткам публицистики, «деформации Мандельштамом собственного мировоззрения, которое он попытается уложить в прокрустово ложе советской идеологии» (с. 23). Тем характернее, что Мандельштам, после того как он в разговоре с С. Рудаковым критиковал себя за написание «подхалимских стихов», вносит сомнение в финал стихотворения

(с. 84). Левинг отмечает, что «Мандельштам как будто примеряет к своей собственной биографии участь сгоревших летчиков» (с. 69). Немота похоронной процессии может быть отсылкой к немоте самого ссыльного поэта (с. 132).

Развивая исследование, можно предположить, что «Не мучнистой бабочкою белой» — пример честности автора с собой и языком. Когда честность ведет к тому, что автор говорит не то, что хотел сказать, пытаюсь приспособиться к обстоятельствам, а то, что действительно думает. Что душа (с которой традиционно сопоставляется бабочка) оказалась списана со счетов, а тело обуглено. Жизнь упрощена до азбуки. И кто будет продолжать за эти толпы, лишённые души, с глазами, угрожающими, как дула зенитных орудий (а вместо сердца пламенный мотор)? Едва ли кто-то из них будет продолжать поэзию. Надежда Мандельштам с тревогой называла стихи «последними» — не получился ли у Мандельштама реквием самому себе? Но возможно, что слова «великолепная героическая выдержка — самая будничная вещь» из очерка Мандельштама, написанного в те же месяцы, когда писалось анализируемое Левингом стихотворение, не только попытка поддаться под советский газетный стиль, но и обращение к себе. «С глубиной колодезной венки» стихотворения — может быть, попытка черпать воду-жизнь из смерти.

Александр Уланов

Мотеюнайте И.В.

**Сергей Николаевич
Дурылин — исследователь
русской литературы.**

М.: Литфакт, 2020. — 240 с. — 300 экз.

С.Н. Дурылин, искатель «невидимого града» русской культуры, и сам стал

в советское время творцом потаенной культуры. За последнее десятилетие вышло сразу несколько книг, исследующих биографию писателя и мыслителя, в РГГУ стала проходить ежегодная конференция «Сад расходящихся троп», посвященная Дурылину, В. Розанову и С. Булгакову. Книга И.В. Мотеюнайте сосредоточена исключительно на литературоведческих аспектах наследия одного из ведущих критиков религиозно-философского модернизма и показывает уникальное место Дурылина в истории русской литературы от символизма до экспрессионизма. В основу монографии легли некоторые уже опубликованные, но переработанные статьи, и книга не столько развивает одну тему, сколько закольцовывает ее, показывая, как работает Дурылин, как его ответственная работа все больше захватывает и подчиняет его самого и те культурные принципы, которым он оставался верен на протяжении жизни. Единство книги, состоящей из трех глав, сформировано рядом исследовательских идей и мотивов.



Все знают, сколь много Дурылин обязан символистской критике и сколь многим ему обязан Пастернак, принадлежащий уже совсем другой эпохе. Оставаясь верным интуициям символизма, Дурылин как исследователь Лермонтова не имеет ничего общего с символистскими интерпретаторами Лермонтова: ни с Мережковским, ни даже с Вл. Соловьевым, считавшими поэта предвест-

ником ницшеанского умонастроения. Для Дурылина, бесспорно, Ницше, как и Ибсен, — литераторы, работу которых можно подробно исследовать, тогда как вести разговор о Лермонтове — это говорить о мистике, гении интуиции, религиозном чувстве и поиске. Факты «собраны для того, чтобы оттенить творческую свободу Лермонтова, его независимость ни от каких других мотивов, кроме личных духовных запросов» (с. 149). Пушкин для Дурылина — издатель журнала, критик, историк, человек, преуспевающий в профессии, тогда как Лермонтов — одинокий неустроенный человек, не чувствующий себя дома и в литературной среде. Вот почему безумный Врубель оказывается, по утверждению Дурылина, единственным конгениальным иллюстратором творений Лермонтова.

Проводя параллели с рассуждениями «его старшего друга» (с. 151) Розанова о Лермонтове, автор книги отмечает: Дурылин следует Розанову, рассуждая о разрыве прозаической биографии и поэтических откровений Лермонтова, да и в оценке Пушкина. Но точное ли это сходство? Розанов все время говорит «мы», «читатели», исследуя то, что напряженнее всего в Лермонтове переживается сейчас, что «мы» ждем от Лермонтова и чему не перестаем удивляться. Дурылин гораздо сдержаннее и объективнее: он пытается строго аналитически установить, что возможно знать о Лермонтове, в какой мере сам Лермонтов обращен к читателю, как устроены его поэтика и жизненные стратегии. Можно сказать, что Розанов рассуждает в собрании, а Дурылин — внутри одинокой филологической работы, но на самом деле новизна Дурылина вовсе не в этом.

Писатель был убежден в прерывистости литературного процесса, исчерпанности определенного периода развития русской поэзии (от Пушкина до Фета). Период, когда Россия «изошла

песней», сменился умножением «форм без сущностей» и упрощением и пост-символистским «палеолитом» (с. 99, 101, 112). Мелодический период с его устремлением к «абсолютной независимости искусства», с одной стороны, жаждой веры и новой гражданственности — с другой, требует особого подхода, но как его выработать? В поисках ответа на этот вопрос Мотеюнайте небезосновательно рассматривает влияние К. Леонтьева и В. Брюсова, которого Дурылин ценил за «волю к поэзии». Правда, несмотря на всю оправданность дурылинского пессимизма, картина литературного развития выглядит не столь безотрадной, как непрекращающееся сосуществование «пушкинского» начала и начала, восходящего к 1860-м гг.

Анализируя то, как Дурылин представил в своем докладе 1913 г. рассказ Н.С. Лескова «Шерамур» (с. 176—181), Мотеюнайте тонко отмечает ряд подмен: Дурылин выносит за скобки и социально-обличительный пафос рассказа Лескова, и сами способы построения характера, превращая рассказ в антинигилистический памфлет. Исследовательница связывает такую позицию Дурылина с биографическими обстоятельствами: раннее участие в нелегальной деятельности, тяжелое переживание жандармского разгрома, гибели друга и кризиса всего движения, разочарование в левых идеях — все это как бы вытесняло мысли о действительных драмах лесковских персонажей, общий негативный фрейм стал определять и отношение к персонажу.

Это важная сторона дела, но думаем, что здесь есть еще один аспект. Дурылин поддерживал некоторое постоянство вкуса: важно, что какие-то герои русской литературы с ходом лет становятся для публики все более привлекательными, другие — все более отвратительными, но в целом канон вкуса не меняется. В этом смысле Дурылин оказывается современником импрессиони-

стической критики: он так же говорит о Шерамуре, как, скажем, Иннокентий Анненский видел в пьесе Горького «На дне» продолжение трагедии рока с этнолическими мотивами и масками.

Рассмотрение достижений Дурьлина как литературоведа — тема второй главы, в то время как первая посвящена становлению Дурьлина как историка литературы, работающего в Советском государстве и в советской системе производства знания. Мотеюнайте находит для этого такую формулу, как «социальная адаптация литератора». Согласно исследовательнице, невозможность публиковать в советское время оригинальные стихи и художественную прозу потребовала не просто профессионализации в качестве историка литературы, но и особой автокоммуникативной стратегии, от которой Дурьлин отказался только во второй половине 1930-х гг.: ведение дневников и писание в стол, в чем Мотеюнайте видит «[и]мпульс сотворения собственного мира» (с. 65).

Книга не исследует Дурьлина как учредителя канона, законодателя, определяющего распределение мест. В этом Мотеюнайте видит одну из причин «внезаходимости» Дурьлина советской критике, которая как раз всегда создавала канон. Энергия его обобщений, предвосхищающих настроения его публики, конечно, и спасла его — признание как театроведа, искусствоведа и профессионального историка литературы никогда не оспаривалось.

Вместе с тем корни внезаходимости Дурьлина залегают глубже. Он, почти в духе позиции Михаила Булгакова, проводил разграничение между литературой и «эдитурой», писателем подлинным и мнимым, скрытым под «гутенберговскими одеждами». Мотеюнайте рассматривает также отношение Дурьлина к литературно-критическим мнениям и оценкам XIX в., к темам семьи, семейственности и отношений между поколениями в творчестве русских пи-

сателей. Автор книги предлагает свои ключи к истолкованию дурьлинских «реверансов» в сторону идеологических клише: иронический подтекст ритуальных фраз, апеллирующий к «мнению народа», а в иных случаях — попытка идти своим путем в рамках заданного, например в разговоре о литературной работе и мастерстве, где дореволюционные идеи спрятаны в подтекст.

Третья глава представляет собой по сути самостоятельную небольшую монографию о романе-хронике С.Н. Дурьлина «Колокола» (1928). Анализируя тип повествования, проводя множество параллелей от Платона до Андрея Платонова, Мотеюнайте реконструирует основную мысль этой прозы: колокол обладает более чистым словом, чем человек, можно говорить, при каких условиях колокол зазвучит по-настоящему звонко, тогда как человеку иногда не солгать гораздо труднее.

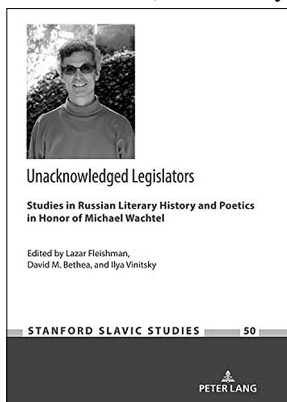
Создание колоколов для писателя — особое действие, в которое оказываются вовлечены люди различных эпох в условной панораме городской провинциальной жизни, — позволяет говорить о жизни и смерти так, как это стало возможно после символизма, принимая смерть спокойно, как блаженную кончину под звон колоколов. По сути, в этой главе исследуется, как в романе-хронике культурно мотивированная антропоморфизация колокола, получающего имя и характер, соотносится с границами прозы в изображении человеческих характеров. Эта глава — несомненный вклад в дискуссию о путях послереволюционной русской прозы, но можно ли говорить, что она написана об «исследователе литературы»?

И все же глава о романе-хронике тесно связана с концепцией книги в целом. В «Колоколах» исследовательница усмотрела нечто большее, чем символистское жизнотворчество: это попытка сохранить критическую «вовлеченность» (с. 70) в цензурных условиях, совер-

шенно не располагающих к собеседованию ни с вечными спутниками, ни с современными. Дурьлин оказывается не только хранителем культурного наследия религиозно-философского возрождения, но и большим писателем, который, несмотря на все давление, поддерживает привычки и критика, и оратора, и даже проповедника. Возможная биография всякий раз будто прорывается через щели и зазоры действительной, и в этом смысле, конечно, Дурьлин был литературоведом даже в романе «Колокола», исследуя, как именно литература может объяснить профессионализм в экзистенциальных вопросах. Так уместно употребленный биографический метод оправдывает задачи книги.

*Александр Марков,
Светлана Мартьянова*

Unacknowledged Legislators: Studies in Russian Literary History and Poetics in Honor of Michael Wachtel / Ed. by L. Fleishman, D.M. Bethea, I. Vinitzky.



Bern, Switzerland: Peter Lang, 2020. — 995 p. — (Stanford Slavic Studies; Vol. 50).

Этот сборник-фестшриффт внушительного объема с изящным заглавием из Шелли «Непризнанные законодатели»

(заставляющим вспомнить строки из «Поэмы без героя» Ахматовой о поэтах, пишущих «железные законы») представляет собой юбилейный, пятидесятый выпуск замечательной славистической серии, затеянной уже больше трех десятилетий назад учеными кафедры славистики Стэнфордского университета, которая готовилась, версталась и распространялась (процитирую здесь А.Б. Устинова) Гаретом Перкинсом и его издательским домом «Berkeley Slavic Specialties», а главным вдохновителем всех томов был и остается Лазарь Флейшман.

Обширные научные интересы адресата научного приношения, профессора Принстонского университета Майкла Вахтеля: стиховедение и Вячеслав Иванов, русский символизм, комментирование Пушкина, история и поэтика русской литературы XVIII—XXI вв., история литературоведения XX в., — определили тематические границы сборника. В нем приняли участие 44 исследователя из многих стран (США и России, Италии и Израиля, Австрии и Латвии, Швеции, Эстонии и Финляндии) — со статьями, публикациями документов и писем, работами, выполненными в жанре комментария.

Открывают сборник материалы, прямо соприкасающиеся с работами поздравляемого: заметки Барри Шера о возможности выделения различных типов ударений в двусложных размерах в русском стихосложении и статья Кэрил Эмерсон «Еще раз о Бахтине и поэзии», касающаяся книги Майкла Вахтеля «Кембриджское введение в русскую поэзию» (2004). Эмерсон, с одной стороны, вступает в полемику с М. Гаспаровым и А. Каравашко, а с другой — обращается к анализу бахтинских характеристик русских поэтов от Пушкина до Анненского, Гумилева, Блока и Маковского в записях Дувакина. Габриэла Сафран, касаясь работы М. Вахтеля «Пушкинское обращение к фольк-

лору», детально рассматривает свидетельства о записях народного языка Пушкиным и Григоровичем, на основе которых уже в середине XIX в. сформировалась устойчивая мифология о народных корнях литературного языка.

Ряд исследований посвящен связям писателей и литературных произведений с идейным контекстом первой половины XIX в. (отметим сразу, что касаются этих вопросов и многие другие материалы сборника): в статье Любови Киселевой и Карины Новашевской «Подражание как средство создания русского национального театра» анализируется позиция драматурга А. Шаховского («усыновлять» национальному театру все лучшее, чего уже достиг театр европейский, “одевая” в “народную одежду”»), в статье Ольги Хасти «Вытеснение Екатерины II: “Медный всадник”» — аспекты отношения Пушкина к Екатерине II, а в работе Памелы Дэвидсон «Создание православного русского Мильтона: Федор Глинка в поисках эпической формы» — опыт создания русского религиозного эпоса Федором Глинкой.

Две статьи направлены на «демифологизацию» сложившихся историко-литературных представлений. Илья Виноцкий вскрывает медицинскую составляющую европейского путешествия Жуковского в 1832—1833 гг. и взаимоотношений поэта с Гоголем. А Екатерина Лямина и Наталья Самовер посвящают свою статью корректировке известных фактов биографии или, точнее, стратегии создания литературной репутации Гоголя (здесь, в частности, предлагается новое объяснение знаменитой истории о типографских наборщиках, смеявшихся над «Вечерами на хуторе близ Диканьки»).

Ряд исследований связан с фигурой Вячеслава Иванова. Так, Геннадий Обатнин в «Материалах к учению о рифме в башенной Академии стиха» восстанавливает вплоть до мельчайших дета-

лей интеллектуальный и поэтический контекст стиховедческих лекций Иванова (и публикует конспект лекции о рифме, записанный Б.С. Мосоловым). С Ивановым и его семьей связана и публикация Маргариты Павловой «Из материалов Федора Сологуба в собрании М.С. Лесмана», представляющая судьбу А.Н. Чеботаревской на основе свидетельства Т.Н. Чернозитовой от 1959 г. К сюжетам вокруг башни Иванова и отчасти стиховедению примыкает и статья Романа Тименчика «Из Именного указателя к “Записным книжкам” Анны Ахматовой: Круг Вячеслава Иванова — Владимир Пяст», в которой собраны свидетельства обо всех точках пересечения Ахматовой и Пяста, объединенные в серию увлекательных сюжетов, причем попутно уточняются атрибуты ахматовских писем.

Один из важнейших этапов развития науки о стихе и, в частности, реконструкция научных биографий Б.В. Томашевского и Б.И. Ярхо — предмет статьи Игоря Пильщикова и Андрея Устинова «Московский лингвистический кружок и становление русского стиховедения (1919—1921)». Раннему же этапу биографии Томашевского посвящена публикация Николая Богомолова «Б.В. Томашевский о “Весях”», где отобраны фрагменты писем будущего ученого за 1908—1909 гг. с весьма язвительными характеристиками материалов московского символистского издания. С обоими этими материалами перекликается статья М.Г. Сальман «Из юношеских лет Елены Тагер (Материалы к биографии. 1895—1924)», в которой реконструирован насыщенный петербургский интеллектуальный мир первых десятилетий XX в.: гимназическая учеба Тагер у замечательных преподавателей, в том числе В.В. Гиппиуса, участие в Пушкинском семинарии Венгерова на Высших женских Бестужевских курсах, в «Кружке поэтов», где она познакомилась со Вс. Рождественским и С. Есениным,

Историко-литературном студенческом кружке им. Пушкина, организаторами которого были С. Бонди, Ю. Оксман, Ю. Никольский и будущий муж Тагер — поэт Б. Маслов. Страшным контрастом этой насыщенной жизни видится дальнейшая судьба Тагер, многократно арестовывавшейся и отбывавшей сроки лагеря и ссылки с 1919 до 1954 г. Если вспоминать о драматических судьбах поэтов XX в., одной из самых страшных и одновременно героических предстанет судьба Елизаветы Кузьминой-Караваевой (Скобцовой) — ей посвящена работа Владимира Хазана «Мать Мария: израильские отзвуки трагической судьбы». На пересечении исследований о судьбах поэтов, истории стиховедения и комментаторского жанра находится разыскание Владимира Нехотина о биографии Клавдии Якобсон.

Неоднократно возникавший вопрос о принадлежности Н. Заболоцкого к обзорам решается (утвердительно) в статье Андрея Устинова и Игоря Ложилова. Авторы демонстрируют множество точек содержательного схождения Хармса и Заболоцкого, их взаимоотношения с ленинградскими художниками Ермолаевой и Юдиным; показана сложная история безуспешных издательских проектов конца 1920-х — начала 1930-х гг.

Не менее драматична судьба ненаписанной книги Валентина Кривича об отце — И. Анненском. А.В. Лавров публикует план книги «Иннокентий Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам», который был предложен в 1933 г. П.Н. Медведеву для публикации в ленинградском отделении «Госиздата». Немалую роль в неудаче предприятия сыграла репутация Кривича даже среди тех, кто готов был поддерживать его публикаторские начинания, равно как и полное непонимание издательского начальства: советскому чиновнику И.И. Ионову было совершенно непонятно, зачем публиковать биографию этого поэта во вверен-

ном его идеологическому присмотру издательстве «Academia».

Сюжетам, связанным с особенностями взаимодействия русской и европейских культур в разные века, посвящены статья Марии Баскиной (Маликовой) «О “байронцизме” П.А. Вяземского» (анализируются проблемы поэта-переводчика, не владевшего английским, и сложности, создававшиеся религиозной цензурой), публикация К.М. Азадовского «Александр Элиасберг: из писем к П.Д. Эттингеру», статьи «Итальянский поэт-дилетант в Одессе» Стефано Гардзонио и «Краем глаза через полстолетия: неизданная антология Элиса “Певцы Германии”» Федора Полякова. Марио Корти в работе «Касти, Сальери и Петр Великий в героикомической опере Сальери «Хубилай, великий хан Татарский» обнаруживает Петра Первого под маской главного персонажа оперы Сальери, либретто которой принадлежит перу Джованни Баттисты Касты, автора героикомической «Роета Tartaro», где под вымышленными именами представлены пародийные образы Петра Первого, Екатерины Великой, Лефорта, Анны Монс и других фигур русской истории XVIII в. Эндрю Вахтель в статье «Риторика самозванства у Пушкина и Негоша» исследует феномен нелегитимных претензий на власть, сопоставляя фигуры Пугачева и шесть лет правившего Черногорией Стефана Малого, которого в Сербии считали спасшимся Петром Третьим, а также отражение феномена самозванства в «Капитанской дочке» Пушкина и в «Ложном царе Степане Малом» выдающегося черногорского правителя и митрополита, поэта Петра Негоша.

Специфические аспекты существования русской культуры вне СССР — в эмиграции и на оккупированных в годы войны территориях — представлены в подготовленной Александром Соболевым публикации выразительных писем Анатолия Штейгера (1926—1938 гг.) к его

соученику по русской гимназии в чешском городе Моравска-Тржебова, филологу Владимиру Морковину, и в исследовании Бориса Равдина «И.С. Тургенев на страницах поднемецкой печати 1942—1945», посвященном феномену обращения к Тургеневу в весьма специфическом идеологическом контексте и судьбам авторов коллаборационистской печати.

В не чуждом юбилею жанре комментария выполнены работы «Из комментария к “Пиковой даме”» Михаила Безродного и «Что мы можем делать с книгами из библиотеки Пушкина» Александра Долинина (во второй представлены образцы комментария к «Путешествию в Арзрум» и обсуждаются возможности, которые открывают исследователям и комментаторам как сама библиотека Пушкина, так и ее каталог, составленный в 1909 г. Б. Модзалевским); статья Алексея Балакина, атрибутировавшего «безрукого инвалида» в пушкинских «Моих замечаниях об русском театре»; изящная работа Дарьи Хитровой «Две строки и три соседа» о наброске пушкинского перевода баллады Саути «Благочестивый живописец» (в ней содержится ряд замечательных наблюдений, связывающий Саути, Пушкина, Жуковского и Гоголя) и, наконец, комментаторские заметки Григория Утгофа о набоковском «Подвиге».

Статьи Александра Осповата и Олега Лекманова посвящены едва ли не самым хрестоматийным стихотворениям Тютчева и Манделштама: «Умом Россию не понять...» и «Silentium» соответственно. Осповат объясняет место стихотворения в корпусе текстов поэта и показывает, какое значение вкладывал автор в противопоставление «ума» и «веры»; показанная автором широта употребления выражения об измерении России общей меркой (или аршином) до Тютчева может быть причиной последующего превращения стихотворения в нечто вроде расхожего афоризма. Лекманов же, напротив, предла-

гает оторваться от привычной традиции «тютчевского» прочтения стихотворения Манделштама и вместо этого прочесть его как стихотворение о любви.

Еще две статьи посвящены анализу одного поэтического произведения. Рональд Вроон предпринимает тщательный текстологический анализ одного из сложнейших сочинений В. Хлебникова, «Ззыз — — жжа!», и интерпретирует его в контексте других произведений автора, связанных с гражданской войной и голодом. Эмили Вонг предлагает прочтение первой (и единственной) песни «Поэмы начала» Николая Гумилева — как текста, полемически направленного против мифологических представлений Вячеслава Иванова.

Ряд статей и публикаций связан с творчеством и биографией Б. Пастернака. Алиса Динег Гилеспи предлагает рассмотреть «Моего Пушкина» в качестве одного из опорных текстов в посмертном диалоге Пастернака с Цветаевой на страницах «Доктора Живаго»; Анна Сергеева-Клятис публикует любовные «Письма Надежды Синяковой Борису Пастернаку» (1915—1916). Самая объемная публикация в сборнике принадлежит Лазарю Флейшману: «Из пастернаковской переписки. События нобелевских дней глазами брата». Письма Александра Леонидовича, адресованные сестрам в Англию и доставлявшиеся с разными оказиями, отражают его сложное отношение к передаче романа за границу и возникшей бурной переписке автора с читателями; оно меняется уже только в 1960-х гг. (прежде он и романа не читал), о чем свидетельствуют его письма к Г.П. Струве.

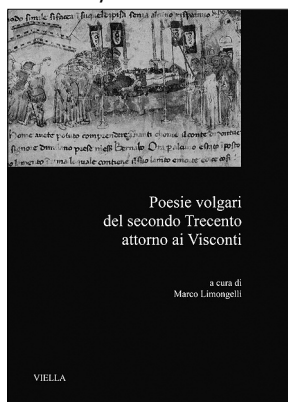
К публикации Флейшмана тематически примыкает статья Магнуса Юнгрена, демифологизирующая историю выдвижения Анны Ахматовой на Нобелевскую премию. Там, как и в случае с Пастернаком, в обсуждении кандидатур вновь возникала фигура М. Шолохова, а среди предлагавших кандида-

туру Ахматовой был, как и в пастернаковском случае, Р. Якобсон. Второй материал Юнгрена — «Из моих воспоминаний»: автор публикует письмо Роллан-Кудашевой к нему (1982) и немного рассказывает о Сергее Васильевиче Шервинском, который был «медиактором» в их переписке.

Завершает сборник публикация М. Шруба «Степун и Валентинов (Вольский)», показывающая, до какой степени вопрос о причинах русской революции даже через несколько десятилетий оставался острейшей болезненной точкой в мировосприятии не только русских эмигрантов, но и всех, кто задумывался об исторических судьбах России и русской культуры.

Константин Поливанов

Poesie volgari del secondo Trecento attorno ai Visconti / A cura di M. Limongelli.



Roma: Viella, 2019. — 604 p.

Сборник «Поэзия на вольгаре второй половины XIV века при Висконти» под редакцией Марко Лимонджелли, доцента итальянского языка и литературы в Университете Киото, продолжает линию, намеченную изданием материалов лозаннского семинара «Доблестная славная гадюка. Поэзия и литература

на вольгаре при дворе Висконти конца XIV — начала XV века» (*Valorosa vipera gentile: Poesia e letteratura in volgare attorno ai Visconti fra Trecento e primo Quattrocento / A cura di S. Albonico, M. Limongelli e V. Pagliari*. Roma: Viella, 2014; название содержит аллюзию на фамильный герб Висконти) и сборника статей «Дворы и придворные культуры в Италии и Европе раннего Нового времени» (*Courts and Courtly Cultures in Early Modern Italy and Europe: Models and Languages / Ed. by S. Albonico, S. Romano*. Roma: Viella, 2016). Семинар, состоявшийся в 2012 г., ввел Ломбардию, долгое время остававшуюся в тени облаканной историографией Тосканы, в сферу исследований конструирования идентичности и положил начало комплексному изучению визуальной, пространственной и литературной культуры Ломбардии XIV—XVI вв. Вышедший двумя годами позже сборник «Дворы и придворные культуры...», несмотря на заявленную в заголовке общеевропейскую географию, на самом деле ограничивается в основном территорией современной Италии, но зато на его материале прекрасно прослеживается смещение исследовательского фокуса, долгое время прикованного к центральной Италии, в сторону севера.

«Поэзия на вольгаре...», выросшая из докторской диссертации Лимонджелли, скорее авторская монография, а не просто антология поэзии.

По словам автора, одна из основных целей этого исследования — пересмотр на удивление живучего представления о дворе Висконти как о пристанище гистрионов и шутов, а не интеллектуалов и эрудитов. Лимонджелли уже обозначил свою точку зрения на этот вопрос в более ранней статье «Поэты и гистрионы времен Бернабо и Джангалеаццо» (*Valorosa vipera gentile*. P. 85—119), рассмотрев проблему конструирования социальной реальности посредством придворной поэзии. Известно, что с точ-

ки зрения связи с контекстом такие поэтические произведения были почти «новостями», а также что многие поэты были в определенной степени именно такими «трансляторами» событий, и их личные (а скорее, социальные или попросту финансовые) интересы вносили свою лепту в разработку официальной версии происходящего. Лимонджелли обращается к многочисленным поэтическим текстам, связанным с сюжетом вероломного убийства Бернабо Висконти его племянником Джангалеаццо, с целью прояснить, как смерть такой неоднозначной фигуры, как Бернабо, была воспринята современниками. Лимонджелли демонстрирует путем тщательного формального и содержательного анализа, что Висконти, вопреки свидетельствам хроник, далеко не презирали эрудитов, что отношения даже между поэтами комической направленности могли быть диалектичными и содержать полемические ноты, а также знакомит читателя с малоизвестными произведениями висконтиевской орбиты, которые никак не отнести к «шутовским», например с моральной канцонной Джованни да Модена, представившего предсмертные размышления заточенного в башне Бернабо в виде диалога между Душой и Телом.

Лимонджелли отмечает, что не намерен ставить под сомнение ценность позитивистских историко-литературных трудов по поэзии Треченто, таких как работы конца XIX — начала XX в. А. Медина и Э. Леви, но настаивает на необходимости проявить определенную осторожность по отношению к главной особенности этих позднеромантических исследований, а именно к спорной и часто недокументированной реконструкции, к увлечению смелыми гипотезами. Эта проблема, по словам автора, прослеживается в не критической трансмиссии ложных мифов в более позднюю историографию XX в., не много добавившую к вкладу предшествен-

ников в изучение проблемы (см.: Viscardi A., Vitale M. La cultura milanese nel secolo XIV // Storia di Milano: La signoria dei Visconti (1310—1392). Milano, 1955. Vol. V. P. 571—634; Lanza A. Firenze contro Milano. Gli intellettuali fiorentini nelle guerre con i Visconti (1300—1440). Azio, 1991; Vitale M. Cultura e lingua a Milano nel Trecento // Petrarca e la Lombardia. Roma; Padova, 2005. P. 31—49).

Еще один посыл новой работы Лимонджелли — стремление напомнить читателям и исследователям, что ломбардская литература эпохи Возрождения не ограничивается текстами Петрарки, гостившего у Висконти, и уж тем более не должна оцениваться по степени соответствия его стилю, как это, к сожалению, зачастую происходило в традиционной тосканоцентристской историографии. Несмотря на лакунарность традиции, обусловленную во многом потерей значительной части рукописных материалов, в Милане и на других территориях домена Висконти существует немало текстов, так или иначе связанных с правящей династией. Помимо таких известных имен, как Петрарка и Бруцио Висконти, Лимонджелли называет тосканцев Фацио дельи Уберти, Доменико да Монтикьяелло, Браччо Браччи, Маркьоне Арриги, Джованни де Бониса, северянина Антонио да Феррара, а также обращает внимание на анонимные сочинения (сонеты, баллады, различные редакции «Плача Бернабо») и небезынтересные поэтические панегирики, написанные не непосредственно при дворе, а «дистанционно», как в случае Пьетро да Сиена, Франческо ди Ванноццо и Джованни да Модена (хотя контакты последнего со двором Висконти на сегодняшний день документально не подтверждены). Звучит парадоксально, но с этим стереотипом трудно бороться: в отличие от падуанской, флорентийской или болонской литературных традиций, представленных многочисленными и разнородными мате-

риалами, значимыми именами и хорошими критическими изданиями, сведения о поэзии на землях домена Висконти малоизвестны и собраны автором буквально по крупицам, среди страниц рукописей, рассеянных по библиотекам и архивам от Оксфорда до Ватикана. В уже упомянутой статье о поэтах и гистрионах Лимонджелли сообщает о трудностях, с которыми сталкивается любой желающий узнать об этих текстах больше: он вынужден прибегать к весьма старым и не всегда точным изданиям, что значительно затрудняет восприятие материала. Например, для ознакомления с «Плачем Бернабо», как сообщает Лимонджелли, приходится обращаться к сборнику 1887 г. (см.: *Valorosa virga gentile*. P. 113), а отсутствие специального сборника, куда вошли бы и сочинения других висконтиевских поэтов, затрудняет выявление их позиций, общих черт и интертекстуальных связей между их произведениями, лишая возможности составить целостное представление о потребностях двора Висконти, о направленности этой литературы и о возможных директивах, выдвинутых заказчиками своим придворным поэтам. Безусловно, материал, собранный Лимонджелли, — один из первых и важных шагов по направлению к полномасштабному и панорамному видению ломбардской поэтической традиции Раннего Возрождения и утверждению ее ценности в ряду других более известных и изученных региональных традиций.

После шестидесяти с лишним страниц вводных замечаний и пояснений, включая подробный перечень задействованных в работе манускриптов, в книге идут стихи, разделенные на четыре главы по авторам: тосканцы Браччо Браччи и Маркионне Арриги, малоизвестный тезка художника Джованни да Модена и анонимные сочинения разных жанров. Всего в висконтиевский поэтический корпус под редакцией Лимонджелли вошли 47 текстов, большая

часть которых известна публике по старым изданиям, но ряд произведений опубликованы впервые. Завершают монографию библиография, общий указатель имен и анонимных произведений и указатель рукописей и архивных документов.

Ценность этой работы состоит не столько в стилистических и лингвистических данных, которые Лимонджелли подробно анализирует, а в принципиальной новизне подхода к поэтическому тексту, хорошо фундированном стремлении к пересмотру общих мест традиционной историографии через призму локальной поэтической традиции. В этом смысле филологическое и литературоведческое на первый взгляд исследование обращено скорее к историкам культуры или памяти, нежели к собственно литературоведам, и даже традиционный для литературоведения поиск топосов и мотивов в придворной поэзии Висконти (среди которых Лимонджелли выделяет, например, персонификацию добродетелей) обретает более обширное применение благодаря приведенным параллелям с иконографией миниатюр, пусть автор и не останавливается на этом подробно. Еще один вопрос, более характерный для истории литературы, но представляющийся продуктивным не только для специалистов в этой области и требующий дальнейшего обсуждения, — это существование своеобразных споров внутри двора, о которых свидетельствуют стихи Джованни де Бониса, Маркьоне Арриги и Джулиано да Гальяно, а также обмен сонетами между Арриги и Браччи. По словам Лимонджелли, подобная «корреспонденция», полифоническая перекличка голосов подкрепляет гипотезу о существовании поэтического диалога внутри миланского двора, а значит, и некоторой диалектической общности, которая делает эти отдельные и на первый взгляд случайные поэтические проявления менее далекими и изолированными.

Лимонджелли предпринимает попытку ответить на многие вопросы, связанные с фрагментарным и разнородным характером придворной поэзии Висконти, например о том, насколько ее содержание было подвержено влиянию правящей династии, можно ли говорить о прямых заказах или же речь идет скорее о единичных попытках заслужить доверие повелителя. По мнению исследователя, миланский двор второй половины Треченто не был достаточно сплоченным для того, чтобы объединить в один культурный проект приближенных поэтов. Это утверждение, на мой взгляд, является довольно спорным и не в полной мере объясняет обсуждаемый феномен: начиная со времен Аццоне (1302—1339) Висконти были очень хорошо знакомы с манипулятивным потенциалом культурной политики и активно использовали его вне зависимости от реального интереса того или иного представителя династии к культуре. Как и правление Аццоне (пригласившего в Милан Джотто), эпоха Джангалеаццо Висконти (1351—1402) отмечена пристальным вниманием к процессу авторитетизации через различные стратегии вербализации и визуализации, воплотившиеся в масштабных архитектурных (Павийская чертоза, Миланский кафедральный собор, многочисленные резиденции Висконти), культурных (Университет Павии и библиотека Висконти) и художественных (ломбардская школа миниатюры) проектах. В таком случае вопрос, почему ситуация, когда представители династии конфликто-

вали между собой, о которой пишет Лимонджелли, помешала созданию единого направления в поэзии, при этом не повлияв на единообразие языка визуальной культуры Висконти, требует дальнейших пояснений, которых, автор, к сожалению, не предоставляет, хотя и отмечает затруднительный выбор, перед которым оказываются поэты после падения Бернабо. Тем не менее Лимонджелли весьма точно отмечает двойную функцию пропагандистской висконтиевской поэзии, которая, с одной стороны, направлена «вовне» и отражает нападки конфликтующих с Висконти флорентийцев, а с другой — направлена «вовнутрь», на укрепление доверия к стабильному, хотя и деспотичному правительству. Конечно, это только гипотеза, к которой и сам автор призывает относиться с осторожностью ввиду недостаточных сведений о бытовании рассматриваемых текстов: неизвестно, были ли они напрямую заказаны Висконти, кем и когда читались, как распространялись.

Безусловно сильной стороной работы является именно эта осторожность Лимонджелли как исследователя и его отказ не принимать за истинное все то, что нельзя с уверенностью назвать очевидным, в особенности уже упомянутые спорные и не подкрепленные документацией позднеромантические попытки реконструкции биографий поэтов или «вчитывание» в тексты того, о чем на самом деле в них не говорится.

Александра Мамлина

Благодарим книжный магазин «Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17; тел.: 8 (495) 749-57-21) за помощь в подготовке раздела «Новые книги».

Просим издателей и авторов присылать в редакцию для рецензирования новые литературоведческие монографии по адресу: 123104 Москва, Тверской бульвар, 13. «Новое литературное обозрение». Отдел библиографии.